

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Орган правления союза советских писателей СССР
Выходит под редакцией: В. Ставского, Е. Петрова,
В. Лебедева-Кумача, Н. Погодина, О. Войтинской.

№ 53 (760)

26 сентября 1938 г., понедельник.

Цена 30 коп.

Исполнение долга

В редакции «Стрекозы» с авторами не церемонились. В почтовом ящике авторам отвечали:

«Примите касторовое масло вместо гонорара».

Однажды почти такой же ответ написал сам Чехов. — но не какому-нибудь графоману, потерявшему гонорар, а своей матери, потерявшей мужа, и своей сестре, потерявшей отца.

Павел Егорович Чехов умер. Из Мелихова в Ялту приходили грустные письма. Сестра жаловалась, что теперь, после смерти отца, жить в мелиховском доме неуютно и тягостно, что матери страшно в одинокие зимние вечера, в метели, под завывание ветра в трубах.

Чехов ответил:

«В Ялте тоже воют собаки, гудят самовары и трубы в печах, но так как я раз в месяц принимаю касторовое масло, то все это на меня не действует».

Странно, что чеховская суровость так плохо замечалась.

Но к этой шутке—жесткой, почти беспощадной—Чехов прибавил исполненные глубокой серьезности строки:

«Надо только, по мере сил, исполнять свой долг, и больше ничего».

Случилось так, что через год, когда снова пришла зима, Чехов в письмах из Ялты уже сам с безразличной тоской писал о темных утрах, воющем ветре и нестерпимом одиночестве.

Но жаловался он не потому, что забыл о важности исполнения своего долга, а потому, что долг этот исполнять ему теперь было трудно.

В одном из последних номеров журнала «Октябрь» напечатаны неизвестные до сих пор широкому кругу читателей письма Чехова к О. Л. Книшпер. Это письма умирающего Чехова, письма человека, которым смертельная болезнь овладевала с очень страшной медлительностью.

Казалось, почти уже не было сил отключиться на все, что когда-то волновало в

письмах к близким людям. По-пушкински непринужденные и по-пушкински ясные, чеховские послания друзьям превратились в короткие, словно пропитанные запахом лекарств записки.

— Что же это мы с тобой о литературе заговорили? — так, точно спохватясь, замечает теперь Чехов в одном письме.

Оставалось в этих внешне монотонных письмах очень житейское, очень домашнее, шепчущая нежность, глубоко запрятанная мольба о помощи, ожидание встреч, сообщения о температуре, кашле и болях.

На мгновение кажется, что совершаешь нечто непозволительное, что читаешь чужие письма, а не чеховские письма: ведь раньше в каждом из них всегда было нечто, адресованное не Лейкину, Плещееву и Суворину, а адресованное лично тебе.

И все же письма эти — чеховские, то есть принадлежащие всем, и речь идет, в конце концов, об исполнении долга.

Долг этот у Чехова был один: писательский труд. История выполнения Чеховым своего долга — история большого мужества.

Когда Чехов поехал на Сахалин, Суворин послал ему телеграмму:

«Не хвались до Стенли далеко».

Когда советская критика впервые заговорила о чеховской легенде и о подлинном Чехове, иные биографы и исследователи увлекались гримировкой Чехова под Стенли.

У них Чехов купался не иначе, как бросаясь с палубы океанского парохода в Индийский океан.

У них Чехов умирал, держа в руках бокал, как античный сосуд.

Телеграмма Суворина была нововременской пошлостью, она скрывала очень хитренькую пасмешку над «чужацеством» Чехова, неизвестно-де зачем отправившегося на никому не интересный остров. То ли дело для газеты корреспонденции из дебрей Африки!

Но толкать Чехова в океан с палубы па-

рохода (обязательно притом идущего полным ходом) и вставлять бокал шампанского в гордо поднятую руку, в то время как на самом деле шампанское Чехов глотнул как последнее лекарство, — тоже пошлость.

Жизнь великих писателей не нуждается в киномонтажах.

Чеховское мужество — в чеховских рукописях, в том, как Чехов наблюдал жизнь и, работая над словом, берег правду этих наблюдений.

Чеховское мужество в том, как Чехов боролся за реализм.

Это была очень трудная борьба, и о ней, к сожалению, у нас писали гораздо меньше и скучнее, чем о чеховских таксах Броне и Хине.

Трудная она была потому, что велась Чеховым очень одиноко.

Еще неизвестным сотрудником юмористических журналов молодой Чехов в письме к Лейкину заметил:

«Некрасивое нисколько не реальнее красивого».

Не думаю, чтобы Лейкин — редактор «Осколков», церковный староста и писатель, не лишенный дарования, но едва ли когда-либо раздумывавший о природе искусства — понял Чехова.

Между тем, в одной этой чеховской фразе — целое художественное мировоззрение. Ведь речь идет о глубоком понимании реализма, речь идет об утверждении красоты как жизненной правды.

И путь Чехова от реальной красоты первых «серьезных» рассказов к реальной красоте «Степи» и «Мужиков» — путь, пройденный в одиночестве.

Ведь не «классик» же Григорович с его гуттаперчевыми героями направлял Чехова!

Толстой, как известно, называл Чехова Пушкиным в прозе. Пушкин творил в окружении Баратынского, Языкова, Вяземского, Дельвига — поэтов разного дарования, но во многом общего вкуса. Молодой Чехов творил в непосредственном окру-

нии не таких своих современников, как Лев Толстой, Гончаров, Шедрин, Островский, а таких, как Баранцевич, Потапенко, Боборыкин, Щеглов, Билибин, Лазарев-Грузинский.

Вникните в письма Чехова к тем, кто считали его своим ближайшим коллегой, и вы поймете, что Чехову-художнику пришлось жить двойной жизнью, маскируя свои творческие мечты и истинные требования к искусству. А Потапенко и Щеглов почитали Чехова вполне равным себе. Удивительного в этом ничего не было: чеховский реализм казался им очень похожим на собственный их второсортный натурализм — те же обыденные сюжеты, та же скромная форма, что-то вполне втискивающееся в рамки «Нивы»...

Вполне понятно в таком случае и то, почему Боборыкин, когда-то в корреспонденции из Парижа рекомендовавший вниманию русской публики «молодого нормандского дворянина», позже упрямо называл себя «русским Момассаном».

Это засвидетельствовал сам Чехов, а Чехов, как известно, лгать не умел.

Чехов полюбил Художественный театр до того, как увидел спектакли этого театра: культура, вкус, строгое отношение к своему труду — это было то, что Чехов вокруг себя ранее почти не наблюдал.

И это было Чехову бесконечно важно: впервые — если не считать встреч с Короленко — нарушалось одиночество «исполнения долга».

И вот в последние годы к одиночеству творческому прибавилось одиночество физическое.

Был у Чехова такой знакомый — Кигн, маленький литератор, писавший под скучным псевдонимом Дедлова и живший в скучном городе Довске.

— Что это вы так долго живете в Довске? — с недоумением спрашивал Чехов Кигна.

Ему казалось непонятным, как может писатель обрекать себя на добровольное заключение в одном каком-нибудь городе, изо дня в день, из года в год видеть все ту же безграмотную вывеску на фасаде соседнего дома, поржавелую водосточную трубу и желтую от навоза базарную площадь. Как можно писать книги, как можно писать о своей родине, не зная и

боясь ее, как может писать о ней человек, который никогда не бродил по степному большаку, не слышал крика ночных птиц, не ежился от холода, ожидая поезда на глухом полустанке? И вот не сам ли он превратился в литератора Дедлова из города Довска? Он — собиравшийся в Африку и на Шпицберген!

И он занес в записную книжку:

«Жизнь кажется огромной, а сидишь на пяточке».

В кабинете Чехова на тумбочке, рядом с письменным столом, лежали три толстых справочника: «Вся Москва», «Весь Петербург», «Вся Россия». В перерывах между работой Чехов иногда их перелистывал. С любопытством прочитывал он адреса друзей, объявления пароходных обществ, названия знакомых переулков, фамилии нотариусов, домовладельцев и прокуроров, железнодорожные расписания, списки российских губернских, уездных и заштатных городов.

Перед Чеховым была его родина, отныне ему запретная.

Старые впечатления совсем еще недавно казались Чехову исчерпанными.

О Мелихове он писал как о месте, потерявшем для него литературную ценность. Теперь — во исполнение долга — он обратился к Мелихову вновь. Он написал «В овраге».

В молодости Чехов писал в одном из своих рассказов о «тонкой, едва уловимой красоте человеческого горя». В эстетическом мировоззрении всегда есть доля крайнего себялюбия и легкой готовности пожертвовать правдой. Было много поэтов, умевших перерабатывать человеческое горе в тонкую красоту, и было очень мало поэтов, умевших это делать, ничем не затуманивая и не приукрашивая человеческого горя.

Может быть у одного только Чехова ощущение изящного было в таком согласии с жизненной правдой.

Но потребность заговорить с читателем языком более твердым и жестким, потребность внушить читателю не понимание горя, а ненависть или хотя бы отвращение к горю — все сильнее овладевало Чеховым ялтинских лет.

Мне кажется, что в этом новом столкно-

влении эстетики чеховской молодости с дидактикой чеховской зрелости — именно в этом, а не в болезни — разгадка той мучительной медленности, с которой работал Чехов над последними своими вещами.

Еще в «Человеке в футляре» Чехов заговорил резко, не боясь подчеркиваний, не боясь, что в речах его персонажей читатели легко утадают мысли самого автора. Вот этого теперь он и хотел — открытого разговора с читателем о том, что «больше жить так невозможно».

А в «Невесте», в своем предсмертном рассказе, Чехов повторил эту же мысль еще решительнее: «главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно».

В своих воспоминаниях о Толстом Горький писал, что пока живет на земле Лев Толстой, не может быть одинок человек на земле. Чехов жил при Льве Толстом. И действительно, это был единственный человек, который скрашивал чеховское одиночество.

Чехов никогда не ставил себя рядом с Толстым. Но никогда никого не ставил он между собой и Толстым.

Вот почему, вероятно, Чехов с таким упорством отвергал всякое посредничество при знакомстве с Толстым.

Потом пришел в литературу Горький.

Есть фотография, которая часто воспроизводится в наших журналах: сидят Толстой и Чехов, а между ними стоит Горький.

И все же так не было: была дружба Толстого с Чеховым, влюбленность Горького в Толстого, начало дружбы Чехова с Горьким. Но дружбы одной, которая объединяла бы всех их трех, ее не было, да она, вероятно, и не была возможна.

Если бы Чехов не умер преждевременно, мы может быть, были бы свидетелями расцвета дружбы его с Горьким. Но Чехову, утверждавшему красоту как реальность, — ему не довелось жить рядом с писателем, который утверждал не только красоту как реальность, но вместе со всем советским народом утверждал и реальность как красоту.